

ЛИТЕРАТУРНАЯ МАТРИЦА

Учебник, написанный писателями

XIX
ВЕК



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

**Светлана Друговейко-Должанская
Павел Васильевич Крусанов
Вадим Андреевич Левенталь
Литературная матрица:
учебник, написанный
писателями. XIX век
Серия «Литературная матрица»**

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67764386

Вадим Левенталь, Светлана Друговейко-Должанская, Павел Крусанов.

Литературная матрица: учебник, написанный писателями. XIX век:

Лимбус Пресс; СПб; 2022

ISBN 978-5-6045409-6-1

Аннотация

Перед вами легендарная «Литературная матрица» – книга о классической русской литературе, написанная звездами литературы современной. Современные писатели – от Андрея Битова и Валерия Попова до Сергея Шаргунова и Ильи Бояшова – пишут о классиках, чьи произведения входят в школьную программу: от Грибоедова до Толстого и от Чехова до Солженицына. Старшеклассник, студент, да и любой читатель,

интересующийся как классической, так и современной русской литературой, найдет в этой книге огромный материал для размышлений, вдохновения и пересмотра привычных оценок классики.

Настоящий том посвящен русской литературе XIX века.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Содержание

Школьная программа по литературе:	6
руководство пользователя	
Сергей Шаргунов	15
Людмила Петрушевская	45
Конец ознакомительного фрагмента.	58

**Литературная матрица:
учебник, написанный
писателями. XIX век**
*Составители Вадим
Левенталь, Светлана
Друговейко-Должанская,
Павел Крусанов*

© В. Левенталь, С. Друговейко-Должанская, П. Крусанов,
предисловие, 2021

© В. Левенталь, С. Друговейко-Должанская, П. Крусанов,
состав, комментарии, 2021

© А. Битов, Е. Шварц, Д. Горчев, наследники, 2021

© С. Шаргунов, Л. Петрушевская, А. Секацкий, Т. Моск-
вина, М. Шишкин, М. Гиголашвили, А. Левкин, А. Мелихов,
С. Болмат, И. Бояшов, С. Носов, В. Попов, 2021

© А. Веселов, обложка, 2021

© ООО «Издательство К. Тублина», 2021

Школьная программа по литературе: руководство пользователя

В англо-американском книжном жж-сообществе bookish появился в этом году¹ пост: некто – очевидно, достаточно взрослый – писал, что решил познакомиться с этими The Russians, о которых все говорят, и прочитать наконец «Преступление и наказание», «Войну и мир» и «Лолиту». По результатам прочтения Достоевскому было выдано пять звезд, а Толстому с Набоковым – по четыре с половиной. Автор поста просил подсказать ему, что еще почитать у тех же писателей. Речь, впрочем, не об экспорте русской духовности, а о том, что ответил автору поста один из участников сообщества: радуйся, мол, что родился в Штатах, – родись ты в России, тебя этими книжками замучили бы еще в школе и потом ты всю жизнь их ненавидел бы.

Надо полагать, именно эти «замученные книжками еще в школе» и позаботились о том, чтобы обязательный выпускной экзамен по литературе был отменен. Тем не менее русские классики остались в школьной программе. Так надо их читать или не надо? И если надо – то зачем? В наше праг-

¹ Имеется в виду 2011-й – год написания статьи.

матическое время, когда в некоторых странах паспорта выдают едва появившимся на свет младенцам, любой продвинутый школьник, приходя на первый в жизни урок литературы, прежде всего обязан скривить лицо и заявить Мариванне, что литература никак не пригодится ему в *реальной жизни*, а значит, учить ее не надо: мол, расскажите-ка мне лучше, как составить резюме. На вторую часть этого вопроса грамотная Мариванна должна ответить, что писать резюме – это удел лузеров: крутые парни не составляют резюме, а читают и отбраковывают чужие. С *реальной жизнью* сложнее. Честная Мариванна должна сознаться, что ни литература, ни, скажем, астрономия или ботаника в реальной жизни никому еще негодились. Ограничимся, впрочем, литературой. Еще раз: знание истории русской литературы действительно никакого практического применения не имеет.

Нет никакой зависимости между культурным уровнем человека и его социальным положением. Канадский премьер-министр как-то признался, что любит только хоккей, а книг вообще никогда не читает. Тогда как кремлевский «серый кардинал» Владислав Сурков, напротив, известен как тонкий ценитель литературы. То же самое, в общем, можно сказать и о лузерах: в интеллектуальном багаже одного хранятся разве что смутные воспоминания о сказке «Репка», а другой числит главным достоянием «сало и спички – и Тургенева восемь томов».

Более того, вопреки распространенному заблуждению,

чтение художественной литературы (сюжеты которой, так уж сложилось исторически, строятся чаще всего на любовных многоугольниках) никак не помогает обустроить свою личную жизнь. Напротив, книжные представления о любви отпугивают объекты этой любви (тут полагается вспомнить пушкинскую Татьяну, воспитанную на романах и обманах «и Ричардсона, и Руссо»), а потом еще и оказываются источником разочарований («Я-то думала: он мне стихи читать будет...»).

Наконец, необходимо разрушить самый стойкий предрассудок: будто бы чтение хорошей литературы – это такое уж безусловное удовольствие. Стоит признаться, что даже маленькая порция пломбира явно способна доставить куда более очевидное удовольствие, нежели многочасовое погружение в какие-нибудь там «Мертвые души». Ведь читать гораздо труднее, чем простодушно облизывать пломбирный шарик. И все-таки: есть мнение, что читать надо. Зачем и почему?

Первая благородная истина буддизма гласит: жизнь есть страдание. Житейский опыт, как кажется, не дает оснований спорить с этим утверждением. Моменты счастья всегда кратковременны: по этой логике счастье есть не более чем отложенное страдание. Художественная литература не может исправить этого – ни одна книга не сделает человека счастливым. Но так уж получилось (спросите у историка – почему), что именно художественная литература стала для разумного

населения земного шара аккумулятором смысла – того, что люди за последние пару-тройку тысячелетий поняли о жизни и о себе. Пройдут сотни лет, прежде чем кино или любое иное гипотетическое искусство будущего сможет сравняться по смысловости с батареей мировой литературы.

Читать «Войну и мир» нужно не для того, чтобы, участвуя в телевикторине, бойко ответить на вопрос, какого цвета была собачка Платона Каратаева (кстати, она – вы не поверите! – была лиловая), и не для того, чтобы блеснуть уместной цитатой в умной беседе. А для того, чтобы настроить свой ум на такую волну, на которой вопросы вроде «Кто я?» и «Зачем я здесь?» лишаются анекдотической окраски. Те, кто планирует благополучно просуществовать, вовсе не задаваясь подобными вопросами, приглашаются на урок по составлению резюме.

Ответов на эти вопросы, кстати говоря, ни в одной хорошей книге нет. Ответы при благоприятных условиях появляются в голове читателя сами собой. Могут ли они, ответы, появиться в голове сами собой и без всяких книжек? Могут. Но, пока мы читаем, вероятность их появления существенно возрастает. Таким образом, тот, кто проштудировал «Войну и мир» или «Историю одного города», получает серьезный шанс не просто прожить жизнь, исполненную страдания, но что-то об устройстве этой жизни понять. А ведь осмысленное страдание куда как лучше страдания бессмысленного – это знает всякий, кого мама ставила в угол за драку с братом,

который, между прочим, первый начал.

Существенное отличие чтения русской литературы от прогулки по музею материальной культуры заключается в том, что книги – не экспонаты, о которых любопытно узнать пару забавных фактов. Книги собраны из мыслей и фантазий, сомнений и откровений, любви и ненависти, наблюдений и разочарований *живых людей*. («В литературном мире нет смерти, и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как и живые» – это не из сценария голливудского ужастика, а из статьи русского классика Гоголя. И сказано это о литераторах предшествующей эпохи, которые, по мнению Гоголя, постоянно требуют «своего определения и настоящей, верной оценки», «уничтожения неправого обвинения, неправого определения».) Люди эти, коль скоро человечество помнит о них десятки, сотни лет, были людьми исключительными. И порукой тому, что все ими написанное было обдуманно и написано на пределе серьезности, – их трудные судьбы и зачастую трагические смерти. Поэтому-то их произведения сочатся горячей, как кровь, мыслью – мыслью, которая разрывает сознание, не умещааясь в мозг, и выплескивается вовне, в тексты. Брать эти тексты в руки нужно не как осколки какого-нибудь кувшина, а как старое, но грозное оружие (человек, который придумал это сравнение, через несколько дней пустил себе пулю в висок – игра «Угадай цитату» началась).

В этом смысле само словосочетание «изучение литерату-

ры» звучит смешно. Можно, конечно, изучать устройство автомата Калашникова, но создан он не для того, чтобы его изучать, а для того, чтобы из него стрелять. Похожим образом обстоит дело и с томиком Толстого. На то, чтобы исследовать язык «Войны и мира» или образ Анны Карениной, можно положить целую жизнь – занятие не лучше и не хуже других, – но написаны эти романы были не для того, чтобы несколько ящиков в библиотечном каталоге заполнились карточками с пометкой «Толстой, о нем», а для того, чтобы хоть один из сотни читателей потерял покой.

У профессионала-филолога, который возьмется читать этот сборник, будет масса поводов скривить лицо: об этом, мол, уже написал тот-то, а это не согласуется с теорией такого-то. Профессионал-филолог будет абсолютно прав. Русская литература от Грибоедова до Солженицына препарирована и разложена на трактówki во многих сотнях томов, в названиях которых есть слова «дискурс» и «нарратив». Краткий и упрощенный конспект того, что ученые имеют нам сказать про художественную литературу, должен, по идее, содержаться в школьном учебнике. Учебник этот – книга, безусловно, полезная и познавательная. Существует он затем, чтобы его читатель как минимум запомнил, что Пушкин родился несколько раньше Чехова, и как максимум – на что стоит обратить внимание при чтении Тургенева. Затем, чтобы в голове его читателя выстроилась картина истории русской литературы как истории – *измов: классицизм – роман-*

тизм – реализм – символизм... И в этом смысле учебник неизбежно должен быть до некоторой степени равнодушен к самим текстам – шаманская, напрочь выносящая мозг проза Платонова ему столь же мила, как и зубодробительно-скучный роман Чернышевского.

Смысл же появления этого сборника, хотя статьи в нем и расположены в традиционном хронологическом порядке, состоит совершенно в другом.

Его авторы – не ученые, а писатели и поэты. С литературоведческими трудами они в большинстве своем не знакомы. В этом смысле они такие же «простые читатели», как и мы с вами, – но, будучи сами писателями, они в силу устройства своего ума способны заметить в книгах своих почивших в бозе коллег нечто большее, нечто более глубинное, нежели обнаружит самый искушенный филолог. Возвращаясь к оружейной метафоре, можно сказать, что они не музейные работники, а бойцы на передовой, и потому тщательное изучение «шпаги Лермонтова» или «пулемета Бабеля» имеет для них самый что ни на есть практический смысл: всем этим арсеналом нужно уметь пользоваться, чтобы научиться бить без промаха.

То, что они нам предлагают, – это не абсолютные истины, не аксиомы, которые надо выучить, чтобы пользоваться ими, как пользуются таблицей умножения, высчитывая выгодность покупки. (Более того, если, например, выучить наизусть и рассказать историку на экзамене то, что в своей

статье рассказывает о Пушкине и пушкинской эпохе блестящий прозаик и драматург Людмила Петрушевская, то историк, скорее всего, поставит двойку.) Нет, каждая статья этого сборника – опыт настоящего чтения, чтения всерьез. Опыт, который может пригодиться, а может и не пригодиться. При чтении любой из этих статей, не исключено, возникнет протест: я не согласен. (В определенный момент *не согласны* – друг с другом или с авторами – оказались сами составители сборника, поэтому Маяковскому в «Матрице» посвящена не одна, а две статьи.) Так ведь и все классические произведения, послужившие нашим авторам материалом для размышления, были написаны не в последнюю очередь для того, чтобы кто-то осознал, что он *не согласен*. «Раз художник использовал воображение при создании книги, то и ее читатель должен пустить в ход свое – так будет и правильно, и честно», – утверждал Набоков в своих лекциях, которые он читал американским студентам. А писатель Джозеф Конрад и вовсе заявлял, что «автор пишет только половину книги: другую половину пишет читатель». И, ясное дело, каждый читатель по-своему пишет свою половину книги.

Поэтому едва ли найдется кто-то, кому понравятся все статьи, помещенные под этой обложкой: тот, кто готов вяло согласиться со всеми столь разными авторами своих «половин» классических текстов, вряд ли вообще возьмет в руки нашу книгу.

Составители старались, чтобы сборная авторов этой кни-

ги отражала не их личные пристрастия, а современное состояние русской литературы во всем ее разнообразии, как эстетическом, так и идейном, — чтобы читатель мог не только проследить, чем жила русская литература с начала XIX века по середину XX, но и увидеть, чем она жива сегодня. Поэтому в составе авторов этого сборника есть поэты и прозаики, маститые и совсем молодые литераторы, живущие как в России, так и за ее рубежами.

Главное, чего хотелось бы составителям этой книги, — чтобы тот, кто прочтет из нее хоть несколько статей, почувствовал необходимость заглянуть в тексты произведений русской литературы, входящих в «школьную программу». Чтобы он читал эти тексты так, как читают их авторы этой книги, — не сдерживая слез, сжимая кулаки, хохоча и замирая от восторга, гневаясь и сходя с ума. Потому что школьная программа по литературе — это на самом-то деле программа для активации человеческого в человеке, и надо только понять, где тут кнопка enter и как ее нажать.

*Вадим Левенталь,
Светлана Друговейко-Должанская,
Павел Крусанов*

Сергей Шаргунов
Космическая карета,
или Один день панка
Александр Сергеевич Грибоедов
(1790 или 1795–1829)

Пожалуй, я буду писать, не делая скидок на возраст читателя.

Мне приходилось, конечно, в школе и перед поступлением в институт сочинять кучу всяких сочинений на самые разные темы. Про что писать было точно не скучно – про «Горе от ума». Каждая фраза этой пьесы не только не скучна, а обжигающе весела.

И когда меня спросили, о каком из классических произведений русской литературы я бы хотел вновь поразмышлять, я ответил не раздумывая: «Горе от ума» Грибоедова. Пьеса, где каждая фраза – как глоток шампанского, колющий и головокружительный. Как поцелуй на морозе, стремительный, но крепкий. Или так: каждая фраза точна и превосходна, как выстрел снайпера в бензобак. Меткое ба-бамс – и фейерверк до небес!

Пусть не все из того, что я напишу, будет прозрачно, дорогой читатель. Заинтересует имя незнакомое – зайдите в

Интернет. Непонятно что-то – спросите у Яндексa. Что-то совсем непонятно – ну, можете пропустить.

Ок? Тогда полетели...

Жизнь и смерть Грибоедова

Грибоедов – загадочная персона, автор одной книги. Вот так вот: шарахнул разок – и остался навсегда в литературе. Написанное до «Горя...» слишком, как считается, незрело (комедии «Молодые супруги» и «Студент»), написанное после – черновики. «Горе от ума» – вещь отточенная и сверкающая.

И это притом, что известный нам блистательный вариант – черновой, неокончательный. (Вроде бы последний текст погиб вместе с поэтом в Тегеране.)

Человек-загадка. Даже год рождения Грибоедова под вопросом – либо 1790-й, либо 1795-й.

Если верна самая поздняя дата рождения, это означает, что Грибоедов окончил Московский университет в тринадцать лет, то есть был вундеркиндом, как сказали бы сегодня. Если самая ранняя – что он написал единственное свое произведение в сравнительно позднем возрасте, в тридцать три года, то есть был скорее «тугодумом»...

Во время наполеоновского вторжения поступил в гусарский полк, где прослужил около трех лет. В 1817-м был зачислен в Коллегию иностранных дел (почти одновременно с

А. С. Пушкиным и В. К. Кюхельбекером).

В Петербурге близко сошелся со многими литераторами, актерами, стал членом масонской ложи – да и, впрочем, отдал дань тому образу жизни, который сам называл «житейским вольномыслием», типичным для молодых петербургских аристократов, «пасынков здравого рассудка». Вольнолюбивое веселье этих лет закончилось трагедией: в 1817 году на дуэли из-за актрисы Истоминой был смертельно ранен близкий приятель Грибоедова, В. В. Шереметев, притом что сам поэт оказался секундантом его противника. В трагическом исходе событий светская молва обвиняла именно Грибоедова... Он принял решение круто изменить жизнь и отправился с дипломатической миссией в Персию. В 1818 году в Тифлисе (по дороге к новому месту службы) стрелялся с известным бретером и будущим декабристом Александром Якубовичем, который был не только секундантом Шереметева, но и непосредственным зачинщиком той памятной дуэли.

По воспоминаниям современников, пуля Якубовича пробила Грибоедову ладонь левой руки близ мизинца – из-за чего он «после, чтобы играть на фортепиано, должен был заказать себе особую аппликатуру».

В 1826-м был арестован в крепости Грозная, так как некоторые из декабристов показали, будто бы Грибоедов был принят в тайную организацию. Доставлен в Петербург, допрошен (Грибоедов дружил с декабристами, но видел пер-

спективы их мятежа сквозь прищур скептика: «Сто прапорщиков хотят переменить весь государственный быт России?»), но сумел доказать свою непричастность к заговору (кстати, один из мемуаристов искренне полагает, что Грибоедов был оправдан прежде всего «потому, что был всегда врагом Якубовича и стрелялся с ним») и продолжил дипломатическую карьеру. В 1828 году организовал выгодный для России Туркманчайский мирный договор и был назначен «полномочным министром-резидентом» России в Персии. По пути в Тегеран женился на пленительной грузинской девочке Нине Чавчавадзе. Через полгода, в феврале 1829-го, убит.

Как это произошло? Посольства располагались в городе Тавризе, русская миссия отправилась в Тегеран представляться шаху. Две армянки из гарема родственника шаха и шахский евнух, тоже армянин, сбежали под защиту русских и попросили помочь им вернуться на родину. Вспыхнуло восстание исламских фанатиков. Горе уму! Было убито тридцать семь человек в посольстве и восемьдесят нападавших. Из русских выжил чудом всего один, по фамилии Мальцов: он спрятался, как козленок в сказке про волка и козлят. Грибоедов выбежал к толпе с саблей, получил камнем по голове, его изрубили и затоптали... Остались два его легкомысленных вальса (был Грибоедов, кроме всего прочего, композитором и пианистом), под которые я снял бы кадры его чудовищной смерти, будь я режиссер. «Она была

мгновенна и прекрасна», – написал Пушкин об этой смерти.

Армянок вернули в гарем. Изувеченный труп евнуха Мирзы Якуба (не странно ли, что имя этого невольного виновника трагедии так созвучно с фамилией Якубовича, виновного в давней роковой истории) проволокли по всему городу и бросили в ров. Как рассказывал потом один персидский сановник, очевидец убийства, который в 1830 году прислал свои воспоминания об этом в парижский журнал, «так же точно было поступлено с предполагаемым телом г. Грибоедова». Тело Грибоедова затем опознали с трудом – по следу на кисти левой руки, оставшемуся после дуэли. Николай I благосклонно принял извинения иранского шаха и подарок – огромный бриллиант. «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское дело...»

Гроб везли долго, в конце концов законопатили, опустили в землю и зачем-то залили нефтью. Измученная горем вдова Нина родила мальчика, который не прожил и дня. На могиле Грибоедова на горе Святого Давида в Тифлисе, то есть в Тбилиси (где поэт и завещал себя похоронить), она велела выбить надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»

Два светила

На эту смерть откликнулся и Пушкин. Последняя их встреча случилась уже после смерти Грибоедова. Один

Александр Сергеевич повстречал гроб другого. Возле крепости Гергеры Пушкин увидел повозку с гробом. «Несколько грузин сопровождали арбу, – вспоминал Пушкин. – “Откуда вы?” – спросил я. “Из Тегерана”. – “Что вы везете?” – “Грибоеда”». Грибоеда, дорогой...

Грибоедов был близок к так называемым младоархаистам. Они ратовали за чистоту и исконность языка, за возможность использовать в литературных текстах так называемое просторечие, да и вообще были заиклены на близости ко всему «народному», «подлинно русскому». Их радикальными продолжателями можно назвать Велимира Хлебникова или Андрея Платонова. Пушкин же принадлежал к арзамасцам – компании европеизированных поборников новых, передовых тенденций в развитии литературного языка и художественных форм.

Но Пушкин и Грибоедов общались поверх этих стилистических барьеров. У них были отношения приятелей.

Вспоминая о Грибоедове, Пушкин достигает интимной, исповедальной ноты (как в известном своем стихотворении, заканчивающемся словами «Но строк печальных не смываю...»): «Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, – все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного

оставались без употребления; талант поэта был не признан. Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств».

Грибоедов был слишком родствен Пушкину по гражданским настроениям, любви к яркой жизни и более всего – по той дерзости авторского слога, которая сделала пьесу «Горе от ума» бессмертной: ведь в ней он поставил успешный эксперимент – соединил русскую разговорную речь с высококлассной литературой. Грибоедов – соперник-современник Пушкина. Написавший значительно меньше, однако родственный по силам. Два солнца. Именно два. Солнца. Солнечные таланты.

Архаист ли, арзамасец ли – паутина теории тает и пропадает в солнечном огне. Оба не вмещаются в литературные и политические классификации. Их роднит молодецкий, свежайший звон строки. Роднит их и идейное равновесие. Об этом хочу написать подробнее – о равновесии, соблюдавшемся при всей пламенности их нравов.

Что это за равновесие такое и почему Грибоедова, как и Пушкина, делили западники и славянофилы, еще яростнее рвут и делят «либералы» и «патриоты»?

Это особый талант – любить родное и оставаться свободолюбом. Таково истинное благородство, противостоящее левому и правому сектантству. Насмешливость, несуетность, глубина. Способность видеть в родном и любимом как хорошее, так и дурное. И все равно, невзирая ни на что, любить.

Понять противоречия России. Она край холода и насилия – и место волшебства и мечтаний. Да и сама жизнь – и траурно-горька, и ослепительно-сладостна.

Это божественный талант. Здесь, дорогой читатель, я не удержусь и затрону «политику».

Идеологическое мельтешение тоже претендует на глобальный знаменатель. Каков этот знаменатель? У «патриотов» их мессианский идеал отменяет художественные критерии: все средства хороши, лишь бы торжествовали «наши». Лес рубят – щепки летят. Безжалостная правда римских легионеров. Зверская правда полковника Скалозуба. («Довольно счастлив я в товарищах моих, / Вакансии как раз открыты: / То старших выключат иных, / Другие, смотришь, перебиты». Или про Москву: «По моему суждению, / Пожар способствовал ей много к украшению». Или про либеральный клуб: «Я князь-Григорию и вам / Фельдфебеля в Волтеры дам, / Он в три шеренги вас построит, / А пикните, так мигом успокоит».)

У «либералов» общий знаменатель – «порядочность», которую иногда называют изрядной. «Либералы» – обитатели узких прослоек и зоркие ценители индивидуального, но в этой среде нет простора для страсти. Синдром гетто или репетиловского кружка («Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь / С умнейшими!!»). Есть мелкий стиль, подслащенные штампы и – в итоге – отрицание личности, суетливый шум клуба («Я сам, как схватятся о камерах, присяжных, /

О Бейроне, ну о матерьях важных, / Частенько слушаю...», «Шумим, братец, шумим»). Проблема «либералов» – выборочность их гуманизма, система двойных стандартов. Если «патриоты» – дуболомы, как Скалозуб, «либералам» свойственна скользкая гибкость Репетилова.

Война «патриотов» и «либералов» – вечна. На чьей стороне не в те времена было государство? Да как и во все времена! Преимущественно на стороне «патриотов», хотя и их держало в узде. Кое-что в стиле управления, конечно, зависит от личности правителя, но в принципе государство – это большой офис, где важнее всего – четкий менеджмент, подчиненность персонала и функциональность распорядка. «Патриоты» и «либералы» зачастую карьерно соседствуют в этом офисе, сидят рядышком за мониторами, но редко когда чаянье тех или других полностью совпадает с направлением деятельности офиса...

«Патриоты» с их гигантоманией вызывают у свободного человека агорафобию, «либералы» с удушливой узостью – клаустрофобию.

А позиция Грибоедова, как и Пушкина, – редчайший пример одновременной отстраненности от общества и вовлеченности в его дела, самостоятельного поиска, который в итоге привел к выбору равновесия – любить и Родину, и свободу. «Странную любовь», – написал их брат Лермонтов. (Влияние Грибоедова на Лермонтова было велико. «Маскарад» Лермонтова вдохновлен «Горем от ума».)

...Я думаю даже, что смерти Грибоедова, Пушкина, Лермонтова (миссия в Тегеране, дуэль с Дантесом, дуэль с Мартиновым) – это что-то вроде искупительной жертвы...

Свободная личность не синоним праведника. Как это сочталось в Грибоедове – сочинять пьесу «против гнусной российской действительности» (слова самого автора) и быть при этом крупным государственным чиновником? Мыслимо ли это – дружить сразу с крамольником Чаадаевым и цепным Булгариным? Написать в юности фрондерскую пародию «Дмитрий Дрянской» (оцените название: так передернуть имя доблестного Донского! Текст этой комедии не сохранился, но сюжет известен: русский профессор Дрянской усыпляет немецких конкурентов своим вяло-бездарным выступлением. Чем не подарок «либералам»?) – и спустя всего лишь несколько лет опубликовать в «Вестнике Европы» «Письмо из Бреста Литовского», составленное едва ли не молчалинским языком: «Неподражаемый государь наш на высочайшей степени славы помнит о ревностных, достойных чиновниках и щедро их награждает». Думаете, тоже пародия? Современники не сомневались, что все на полном серьезе. «Вестник Европы» даже сопроводил это письмо ехидным замечанием: «Из уважения к его чувству мы ничего почти не переправляли ни в стихах, ни в прозе. Впрочем, нельзя читателям требовать от Марсовых детей того, что мы требуем от детей Аполлоновых...»

И кстати: «верноподданническое» это письмо, полное наг-

лых самцовских открытий и действительно вылепленное в стилистике мускулистого наива, уже обнаруживает одновременно и ту присущую «Марсовым детям» лозунговую афористичность, которая потом так широко распахнется в «Горе от ума», и привет от бога солнца Аполлона: «Болтливость пьяного есть признак доброты; / Пииты же, как искони доселе, / Всех более шумели, / Не от вина, нет, – на беду, / Всегда они в чадy...»

Солнце переплавляет противоречия.

А сколь противоречива пьеса Грибоедова! За кого Чацкий? За Державу али за Запад?

Он клянет повадки и традиции хозяев России, чиновников, помещиков, военных и глумится над «патриотками», жаждущими прильнуть к воякам. Перелистываем несколько страниц – и вот, пожалуйста, красноречивый наезд на западничество и вопрошание: кто нас удержит «крепкою вожжой»? Ответ очевиден: патриотическая военщина. Не вояки ли берегут границы от собратьев ненавистного Чацкому «французика из Бордо», которого, мол, напрасно пригрели в московском доме? Такой ответ – мимо, в молоко. Ответа нет.

Выходит, и здесь главное – правда солнца?

Парадокс, возведенный в принцип.

Впрочем, противоречия этой пьесы имеют логическое объяснение: в ней уж слишком особенный герой. Вот кто воистину с планеты Марс.

Подлинно свободная личность всегда одинока, но в слу-

чае Чацкого мы имеем дело с максимальной заостренностью одиночества. Поэтому эта пьеса будет современной всегда.

Инопланетный гость

летит издалека...

Вообразим Чацкого на минуточку нашим современником и вашим ровесником – если не школьником, то студентом.

На первом-втором курсе он ухаживал за Софьей, хорошенькой дочкой ректора, потом укатил за границу, вернулся уже на пятый курс. Вроде бы заграничный дух пропитал его насмешливой вольностью, но Чацкий насмехается и над заграницей – особенно над подражанием ей в институтской среде: над граффити на кафеле в туалете, над иноязычным сленгом в трепе, над Загорецким, который зловеще и заманчиво предлагает «красную таблеточку из Бронкса», над Репетиловым, который всех зазывает на «закрытые молодежные дебаты», «прямо как на Западе» (тут у Чацкого, понятно, и элемент кичливости: мол, я-то лучше вас знаю, как там все устроено).

Софья, расцветшая, еще более пригожая, чем была, влюблена в одноклассника Молчалина, провинциала родом из Твери. Этот Молчалин прилежен, выслуживается перед рек-

тором, угождает Соне. Между ними хрупкие, тусклые, фарфоровые отношения. А по-настоящему-то Леха Молчалин запал на Лизу, яркую девку, троечницу из бедной семьи. Впрочем, и ректору Павлу Афанасьевичу Фамусову она давно уже приглянулась. В друзьях у Фамусова – полковник Скалозуб, силовик, который инспектирует военную кафедру, глупый, но успешный, и Фамусов подумывает, не выдать ли дочку за силовика. И тут возвращается студент Чацкий. Чтобы объявить войну – целому миру.

Точно он не из-за границы вернулся, а с другой планеты. Карета, в финале им требуемая, – это звездолет, который унесет его обратно на ту планету.

Когда я писал сочинения про «Горе от ума», то держался канонического суждения: Чацкий – отважный и благородный резонер, пытается объяснить дурным людям, что они дурные. В отместку его выставляют помешанным. Одиночка и толстокожее общество. Симпатии честного зрителя должны быть на стороне рыцаря. Такова прекраснодушная трактовка, сформулированная Иваном Гончаровым (статья «Миллион терзаний»), сквозь эту интерпретацию и принято рассматривать пьесу.

Со временем я понял иное: Чацкий действительно в своем роде сумасшедший. Софья, распустившая слух, была недалеко от правды. Попробую это доказать.

Действие в пьесе случается в течение одного дня дома у Фамусова: с раннего утра – до поздней ночи. Чацкий в этом

времени и пространстве мелькает как белка в колесе.

Что ему надо от Софьи? Он ее любит? Отсутствовал три года, ни весточки, и тут вломился в дом со всей своей любовью... За что он ее любит? За красоту? По крайней мере, только эту красоту он алчно и нахваливает ее отцу.

Как поступил бы вменяемый жених? Сговорился бы с отцом невесты (обрисовал бы имущественное положение, показал бы себя основательным человеком), а он устраивает балаган. По версии Гончарова, Чацкий ополоумел от сильного чувства, вот и дерзит окружающим, включая отца любимой. Чего же тогда он с порога не о любви говорит, а перебирает родню и близких Софьи с аппетитом трамвайного остро- слова? Разве можно, находясь в здравом уме, полагать, что издевательства над отцом московской барышни, верной этикету, должны тотчас разжечь ее страсть к «влюбленному», пропадавшему три года? Вероятно, Софья не только успела охладеть к Чацкому, но и оскорблена его издевками, особенно – над любезным ей Молчалиным.

Продолжим перебирать симптомы неадекватности. Чацкий бранится с Фамусовым (на простейший вопрос: «Не хочешь ли жениться?» – отбρίζει: «А вам на что?»), заявляет, что работать не намерен, потом, пропуская мимо ушей мольбы главы дома, издевается над полковником Скалозубом. И терпеливый Фамусов не вышибает негодника из своего дома (даже отступает, прячется)! Чацкий получает от Софьи внятный сигнал: люблю другого. И бросается к этому другому,

Молчалину, агитируя его послать весь мир в баню! Вечером, на балу у Фамусова, гавкает налево-направо, грузит публику бредом, так что все от него шарахаются. («Хлестова. Туда же из смешливых; / Сказала что-то я – он начал хохотать. Молчалин. Мне отсоветовал в Москве служить в Архивах. Графиня-внучка. Меня модисткою изволил величать! Наталья Дмитриевна. А мужу моему совет дал жить в деревне».) Настроив всех против себя, он может с чувством выполненного долга оскорбиться на общую неприязнь: «Какими чудесами, / Через какое колдовство / Нелепость обо мне все в голос повторяют!» Даже Гончаров признает, что на балу Чацкий ведет себя как псих. Но автор «Милльона терзаний» объясняет это отчаяньем: мол, поначалу герой вполне здрав и, лишь разуверившись в любви Софьи, впадает в протестный экстаз. Так ли это? Вряд ли. Весь день Чацкий пребывает в экстазе. Под конец он на темной лестнице подслушивает домогательства Молчалина к служанке Лизе и возмущенный треск застукавшей их Софьи. Появляется Фамусов со свечами и слугами, вспыхивает скандал... Для Чацкого все это повод для новых, более уверенных проклятий: «С кем был! Куда меня закинула судьба! / Все гонят! все клянут! Мучителей толпа...»

Чего он добивался? Был ли у него хоть один позитивный проект человеческого бытия и общежития? Допустим, кое-что за строчками пьесы брезжит: отмена цензуры, ликвидация безграмотности, отказ от чинопочитания, от западниче-

ства, долой большие чины. Этакий идеал русской вольницы. Получается, Чацкий – предтеча Октября 1917-го? «Шумите вы? и только?» – спрашивает он февралиста Репетилова явно с интонацией: «Караул устал».

(... Тут еще эта путаница с Чаадаевым. Философ Петр Чаадаев считается одним из возможных прототипов Чацкого (в одном из ранних вариантов пьесы – Чадского, от слова «чад»). С Чаадаевым дружили Грибоедов и Пушкин. Чаадаев – автор «Философических писем». Перед их написанием он путешествовал по Европе. Начал писать в год смерти Грибоедова. Публикация первого письма в журнале «Телескоп» вызвала резкое недовольство властей, журнал был закрыт, а Чаадаев объявлен сумасшедшим. В ответ написал манифест «Апология сумасшедшего» (1837), который остался неопубликованным при его жизни. Грибоедов к тому времени давно лежал в могиле! В «Апологии сумасшедшего» есть прямо-таки слова Чацкого: «Как же случилось, что в один прекрасный день я очутился перед разгневанной публикой, – публикой, чьих похвал я никогда не добивался, чьи ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задевали?» Остается удивляться силе пророческого дара Грибоедова. И все же по взглядам Чаадаев и Чацкий – разные люди. Первый – убежденный западник. Чацкий являет обратное, утверждая, что фрак противен «рассудку и стихиям», и сердясь, что *madame* и *mademoiselle* не переведены на русский язык. Нет, в отличие от вменяемого, хотя и чудаковатого Чаадаева (чье

вполне здоровое мнение просто было настолько «особым», что власть его не смогла переварить) Чацкий невменяем. И — асоциален.)

У него были какие-то «дела» в Петербурге. Молчалин упоминает «разрыв с министрами». Но разве Чацкий — социальный бунтарь? Такую версию радостно приветствует Гончаров, противопоставляя раскаленного Чацкого прохладным Онегину и Печорину. Да, пожалуй, Чацкий разбудил нигилиста Базарова и русских футуристов. А корни его бунта стоит поискать в нетерпимости протопопа Аввакума или освободительных бесчинствах Стеньки Разина. Беда только в том, что нигилизм, изничтожение всего до основания, гораздо важнее для такого героя, чем попытка переменить общественную жизнь к лучшему. Сам Чацкий ведь так и не заикнулся о формуле нового, дивного мира — мы выискиваем эту формулу от противного, выцеживаем из его обличительных речей. Вот как, скажем, пришлось делать это Гончарову: «Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого — и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела, — будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне — ни группировались люди, им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы: от совета “учиться, на старших глядя”, с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины к “свободной жизни” вперед и вперед — с другой». Вперед и вперед... Перманентная революция.

Может, так и сложилось бы, но герою с горячим сердцем

недостает того, что так важно для революционера. Не хватает холодной головы. Гончаров списывает недостаточную политизированность Чацкого на несчастную любовь и кривую эпоху. «Теперь, в наше время, конечно, сделали бы Чацкому упрек, зачем он поставил свое “оскорбленное чувство” выше общественных вопросов, общего блага и т. д. и не остался в Москве продолжать свою роль бойца с ложью и предрассудками, роль выше и важнее роли жениха?» По мысли Гончарова, идеальному Чацкому, изгнанному в дверь, следовало бы лезть в окно. И что сотворить? Юродствовать с новой, более грозной проповедью? Услышали бы его? Не слышали, бросились бы вязать. Значит, пришлось бы действовать. Зарезать Фамусова, заколоть Молчалина? Посреди бала зарубить Скалозуба? Уронить Софью на паркет?

Вопреки чаяньям Гончарова, Чацкий вряд ли способен на активные действия, читай – насилие. Роль этого персонажа – надрывное морализаторство. Чацкий от всех ждет предельной добродетели, он наивен, его издевки скрывают стерильность души, любое замеченное несовершенство для него пытка. Как можно искать карьеры? Как можно угождать начальнику? Как можно думать о деньгах? Как можно любить карьериста? Нужно карьеры не искать, о деньгах не думать, любить лучших. Надо отказаться от нечистой общественной механики, избрать другую жизнь, без сплетен, без зависти, без подчинения человеком человека, без всякого лукавства, и всякой неправды, и всяких ошибок... Этот

«умный себе на горе» напоминает «идиота», князя Мышкина, главного героя романа Федора Достоевского. Любовь в обоих произведениях – периферийная линия, она выявляет и маркирует общую «патологию», обособленность героя во взаимоотношениях с реальностью.

«Хочет быть святее папы римского», – говорят про таких. Существо из другого измерения. «Будьте как дети» – к этому недостижимому идеалу, провозглашенному Евангелием, «безумцы» Чацкий и Мышкин ближе кого бы то ни было. «Люди скажут: ты безумствуешь, потому что не похож на нас», – предрекает святой монах IV века Антоний Великий. Это ли не о Чацком и князе Мышкине?

Но Чацкий по нраву богоборец, а значит, князь Мышкин тоже не его близнец...

Заметим: ни об одном, ни об одном человеке Чацкий не отзывался хорошо!

Он сказал: «Поехали!»

Ко всем окружающим он испытывает отвращение. И я немедленно узнаю этого героя! Для которого «ад – это другие». Чацкий дважды употребляет слово «тошнота». Выступая и как антигосударственник, и как антизападник. В России ему «прислуживаться *тошно*», трудиться он в рабской системе не будет. Он и против западничества, вопрошая, кто бы уберег «от жалкой *тошноты* по стороне чужой». Так он

защищается от притязаний на него двух противоборствующих идеологий – рвотой!

И тут, конечно, трудно не вспомнить роман «Тошнота» француза Жана Поля Сартра. Сартр – философ экзистенциализма. Извини уж, дорогой читатель, но, по-моему, именно через экзистенциализм лучше всего можно понять, про что написано «Горе от ума».

«Тошнота – это суть бытия людей, застрявших “в сутолоке дня”. Людей – брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности. Тошнота – это невозможность любви и доверия, это – попросту – неумение мужчины и женщины понять друг друга. Тошнота – это та самая “другая сторона отчаяния”, по которую лежит Свобода. Но – что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества?..» Это Сартр.

Не об этой ли сутолоке Чацкий:

...Милльон терзаний
Груди от дружеских тисков,
Ногам от шарканья, ушам от восклицаний,
А пуще голове от всяких пустяков.
Душа здесь у меня каким-то горем сжата,
И в многолюдстве я потерян, сам не свой.

«Милльон терзаний» – фраза из пьесы, выхваченная Гончаровым в заголовок его «социальной» статьи, была сказана Чацким совсем про другое. Про хаос и абсурд. Про круго-

ворот крови по жилам, про искушения сознания, про тщету и страхи, про подлость и неисправимость человеческого бытия, про одиночество. «Все сущее рождается беспричинно, продолжается по недостатку сил и умирает случайно», – говорит Антуан Рокантен в романе Сартра, и по интонации это совпадает с безысходностью Чацкого. Глухие старики, участвующие в общем пустом веселье, – метафора абсурда. Графиня-внучка (покуда ее укутывают) выносит приговор всем людским компаниям: «Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей называть! / Какие-то уроды с того света...»

Герой Сартра намерен создать книгу, которая «должна быть прекрасной и твердой как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования». «Горе от ума» – такая книга. Чего недостает Чацкому для полной экзистенциальности? Самоотречения! Рокантен говорит: «Я знаю, мне хватит четверти часа, чтобы дойти до крайней степени отвращения к самому себе». Чацкий себя не бичует, но этот пробел восполнил Грибоедов, который в «Заметке по поводу комедии “Горе от ума”» сознается, что не может достичь подлинности, и обвиняет себя в желании потрафить театральной публике: «Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание, сколько можно было. <...> Все таковы, и я сам та-

ков...» Грибоедов – не Чацкий, но своего героя он понимает.

Где выход?

Отвергнуть не отдельных людей, не буржуев или чернь, не либералов или патриотов, не нацию и не класс – оставить Землю. «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету...» Это Чацкий. «Город покинул меня сам. Я еще не уехал из Бувиля, а меня в Бувиле уже нет...» Это Рокантен. Сартр – не Рокантен, но своего героя он понимает. Отвержение мира целиком. «Карету мне, карету!» Гончаров прав: сплин и фатализм Онегина и Печорина – детский лепет рядом с отчаянием Чацкого.

Норма и Тошнота. Человеческий лад и мучения отщепенца.

Остальные – нормальны. Нормаль-ны...

Нет ничего более лицемерного, чем среднестатистическое сочинение школьника о том, что Фамусов – зло, Скалозуб – зло, Молчалин – зло и даже Софья – зло, а Чацким следует восхищаться. Притом что весь окружающий мир полон именно нормальных Фамусовых, Молчалиных и Скалозубов. Софья – вообще редкостно мила.

Нахваливать асоциального безумца Чацкого – это и есть торжествующая фальшь, которую Чацкий обличал!

Но разве Чацкий не меток в своей стрельбе? Меток. Справедлив? Киваю. В чем тогда его помешанность? А в том, что огонь его критики направлен против всего и всех. Его цветастые филиппики при желании могут быть сужены до одного

куплета Егора Летова:

Всего два выхода для честных ребят:
схватить автомат и убивать всех подряд
или покончить с собой, с собой, с собой, с собой,
если всерьез воспринимать этот мир...

«Как беззаконная комета

в кругу расчисленном светил...»

Если следует «уничтожить реальность» и «убить всех людей» – Чацкий прав. Если важны «общество, семья и достаток» – он просто панк.

Что представляет собой антагонист главного героя – карьерист Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме? Молчалин признается: «Мне завещал отец: / Во-первых, угождать всем людям без изъятья – / Хозяину, где доведется жить, / Начальнику, с кем буду я служить, / Слуге его, который чистит платья, / Швейцару, дворнику, для избежанья зла, / Собаке дворника, чтоб ласкова была». Наука житейской мудрости. Делай всем добро, пускай показное, но делай неустанно. Смесь индуизма и Карнеги. Этот тверской нищерброд Молчалин хоть и вздыхает:

«В мои лета не должно сметь / Свое суждение иметь», но открыто декларирует цельное мировоззрение, социально более зрелое, чем невротические монологи аристократа Чацкого (между прочим, иллюстрация к отношениям Чацкого с «простым народом» – сначала, требуя карету, он говорит кучеру: «Пошел, ищи», затем, когда кучер карету обнаружил, «выталкивает его вон»). Осведомленности о влиятельных людях, то есть компетентности, у Молчалина поболее (он заботится о собеседнике: «К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам», но получает тупой ответ: «Я езжу к женщинам, да только не за этим»). Несомненно, Молчалин – подл. Он – воплощение чиновного ничтожества и при этом идеальный работник для всякой корпорации, стремящейся к эффективности. А еще Молчалин – это живой человек и заложник «барышни». Он не хочет жениться на Софье, раздумывает: «Да что? открыть ли душу?» – признается Лизе в своих ночных посиделках с Софьей: «Готовлюсь нежным быть, а свижусь – и простыну». У меня он, бедняга, вызывает даже жалость.

Что – Фамусов? Уютный домосед и мирный охранитель. Это более успешный, благодаря происхождению своему, Молчалин. Фамусову, вдовцу, важно выдать любимую дочку за подходящего человека, состоятельного и надежного: «Что за комиссия, Создатель, / Быть взрослой дочери отцом!» Иронично-благосклонный, он кокетливо затыкает уши, когда гость, едва заявившись, включает свои тирады.

«Просил я помолчать, не велика услуга», – сокрушается Фамусов, поскольку Чацкий не затыкается и при Скалозубе. Притом Фамусов, по-отечески жуя Чацкого, пытается похвалить его перед другим гостем: «...он малый с головой, / И славно пишет, переводит. / Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом...» Чацкий перебивает: «Нельзя ли пожалеть об ком-нибудь другом? / И похвалы мне ваши досаждают». Совет Фамусова взбалмошному жениху прост: «Сказал бы я, в-первых: не блажи, / Именьем, брат, не управляй оплошно, / А, главное, поди-тка послужи». Коронная история Фамусова (о том, как его покойный дядя-вельможа упал при монаршем дворе: «Старик заохал, голос хрипкой; / Был высочайшею пожалован улыбкой», «упал вдругорядь – уж нарочно, / А хохот пуще, он и в третий так же точно») – типичная номенклатурная хохма, напоминает байку про Никиту Хрущева, который будто бы изображал перед Сталиным голубя: расхаживал, воркуя. Фамусов при всем его показном невежестве (нелюбовь к книжкам) и оправдании чванства и угодничества – фигура трогательная (не сомневаюсь, что именно таким его мог сыграть артист Евгений Леонов).

Что – Скалозуб? Вояка. Слегка контуженный. Метит в генералы. Он явно доволен своей диковатостью и ее лелеет. Тип стилистически узнаваемый по недавним деятелям при погонах (генерал Лебедь). «Как вам доводится Настасья Николавна?» – «Мы с нею вместе не служили».

Что – Софья? Искренне влюблена в простого мальчишку,

падает в обморок, увидев, как тот слетел с лошади, наедине с ним трепещет платонически. Она с легкостью отказывается от «выигрышного» жениха (разговор о Скалозубе). В чем ее вина? В том, что она не замечает притворства Молчалина? По-моему, довольно обычное для юной девицы умение обманывать себя саму. В том, что распускает слух о безумии Чацкого? По-моему, невинная дамская месть. Тому, кто, задетый ее нелюбовью, заявляет снобистски и самодовольно: «А вы! о Боже мой! кого себе избрали? / Когда подумаю, кого вы предпочли!» И вранливо предъявляет: «Зачем меня надеждой завлекли?» Но ведь Софья, умеющая полюбить и умеющая отвадить нелюбимого, вовсе его не завлекала!

Что – Загорецкий? Плут, полезный многим. Что – Горич? Остепенившийся муж. Что – Репетилов? Умеривший гулянки тусовщик, готовый соразмерно способностям просвещаться, внимая «прогрессивным речам». Что – остальные? Люди как люди.

Что – Чацкий? Панк.

«Он впадает в преувеличения, почти в нетрезвость речи, и подтверждает во мнении гостей распущенный Софьей слух о его сумасшествии», – вынужден признать Гончаров. Поведение Чацкого на балу невероятно совпадает с действиями лирического героя рассказа Эдуарда Лимонова *Coca-Cola generation and unemployed leader*. Тот накачивается на вечеринке в Париже и начинает обличать всех, шокируя дам, швыряя неполиткорректные дерзости, и, наконец, увлекает

танцевать девуцу: «Моей партнерше было трудно со мной, я видел, как ей трудно и как ей стыдно. Потому что я увлек ее в мой абсурдный стиль, а она этого не хотела, ей было неудобно перед толпой. Она стеснялась вместе со мною быть другой. Я увидел, как она обрадовалась, когда вдруг кусок музыки закончился. Спиной, вымученно улыбаясь, она отпятилась в толпу, и толпа сомкнулась». Не стыдилась ли Чацкого и повзрослевшая Софья? Еще цитата из рассказа Лимонова: «“Больной” меня обидело... “Я прекрасно здоров, – сказал я и поглядел на немку с презрением. – ...В вас нет страстей! Вы, как старики, избегаете опасных имен и опасных тем для разговора. Так же, как опасных напитков”». Музыка прерывается, вокруг него встают люди. Он продолжает обличать. Его оглушают. Очнувшийся в траве парка, он с трудом идет по ночной улице с тяжелой головой и напевает: I’m an unemployed leader! («Я безработный лидер!»). Просто панк.

Чацкий – панк. Много их таких среди золотой молодежи – рвущих на себе рубахи от Gucci. Грибоедову он внятен. Наш Грибоедов, даром что строил карьеру, сам сочинял стихи в духе упомянутого Егора Летова:

Мы молоды и верим в рай, —
И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брезжущим виденьем.
Постой же! нет его! угасло! —
Обмануты, утомлены.
И что ж с тех пор? – Мы мудры стали,

Ногой отмерили пять стоп,
Соорудили темный гроб
И в нем живых себя заклали².

Солнце и Марс

К XX веку мир не единожды искупался в крови, утопии обернулись кошмаром. Россия успела последовательно разочароваться: в монархии, в социалистическом строительстве, в демократии, а теперь, пожалуй, снова и в твердой руке.

Мир стал предельно циничным. Зло оправданно в сознании большинства.

Гости Фамусова теснят Чацкого с удесятеренной верой в свою правоту.

И все-таки – Чацкий молодчина!

Молчалин, Фамусов, Софья, Скалозуб, Загорецкий, Горич, Г. Н. и Г. Д. – тривиальны, как белый свет. Такие не переведутся. На них белый свет стоит.

Чацкий – бесстрашный открыватель пустот. Обличая, он говорит правду. Эта правда страшна. Эта правда заставляет человека разоблачиться совершенно – снять перед зеркалом не только сюртук, но и кожу. Чтобы эту правду оценить, надо так осмелеть, как способны немногие. Нужны недюжинное

² Из стихотворения А. С. Грибоедова «Прости, отечество!» <1828>. – *Прим. Ред.*

интеллектуальное мужество и мощь самоотречения, чтобы повторить полет Чацкого. Его карета – ракета. Он летит на отчужденной высоте.

Чацкий есть в каждом из нас. И тайное дело каждого – насколько мы готовы выпустить его на волю. Жил Чацкий и в Грибоедове, в определенной пропорции по отношению к дипломату. Грибоедов потому и подарил нам Чацкого, что был небывало свободен. Разница между Грибоедовым и Чацким в том, что первый – всеобъемлюще-солнечный, а второй – воинственный марсианин.

Не знаю, чувствуете ли вы себя настолько свободным, дорогой читатель, чтобы поддержать панка Чацкого. Лично я Чацкого люблю. И в школе любил. Недопонимал, а любил. И вы его любите, если сумеете. И даже если вы эту статью читать не стали и заглянули сейчас в концовку, все равно предлагаю вам набраться геройской отваги и Чацкого полюбить.

Эта статья начиналась за здравие, чтобы закончиться за бессмертие. «Горе от ума» содержит секрет вечной молодости. Солнце часто концентрируется в малых формах или в одной, выстраданной, долго-долго вытачиваемой вещице. Есть такие произведения, которые делают счастливым. Развязка безумна, ужас в тексте крошечный, всё плохо и все плохие – хуже не бывает. Автор, убитый толпой, достоин потока слез... И Чацкого отчего-то до слез жалко. Но перечитал «Горе от ума» – и как будто на курорт съездил. На Красное море. Или на Черное.

Почему так выходит?

Солнце прельстительнее других небесных тел, даже той самой планеты вызывающе-багрового цвета, про которую мы так и не знаем, есть ли там жизнь.

Читайте «Горе от ума» – любите солнце.

Может, кругом и ад. Но солнце дает предчувствие бессмертия.

Людмила Петрушевская

О Пушкине

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)

Невозможно объяснить, в чем заключается гениальность. Человечество еще (или уже) не изобрело такой формулы – ни для поэтов, ни для художников, ни для людей, связанных с музыкой, наукой, техникой. Пока гений живет среди остальных, ему обычно приходится туго.

Композитор Моцарт умер в нищете, художник Винсент Ван Гог от полной безнадежности покончил с собой. А сколько великих уже в XX веке сгинуло в наших лагерях!

Окружение не признавало их.

Разве что после смерти гения современники начинали что-то понимать.

И у каждого человека было (и есть) право выбирать себе своих гениев – и не соглашаться с мнением всего мира.

Пушкин – гений. Это мой выбор.

Для многих поколений людей, говорящих на русском языке, способность прочесть наизусть первую главу «Евгения Онегина» была условным знаком, по которому свои узнавали своих. Особенно в изгнании, в тюрьмах, среди скопища

посторонних. Крестик на шее и «Мой дядя самых честных правил...».

Поэтому я пишу о Нем.

Пушкин был великий поэт и несчастливый человек с предначертанной судьбой быть рано убитым.

Он это узнал еще в ранней молодости, в ссылке.

Один грек-предсказатель вывез его в лунную ночь в поле и, спросив день и час его рождения и сделав заклинания, сказал ему, что, скорее всего, он примет смерть от «белого человека». Или от белой лошади.

Когда за несколько дней до погребения его везли с дуэли, смертельно раненного, домой, он выглядел спокойным. Все свершилось, как было предсказано. Он уже не ждал никаких новых бед. Он всех простил, даже своего убийцу, белоголового человека.

Предстояло только вытерпеть муки до конца. Он продержался мужественно, хотя в первые сутки кричал.

Свидетельством последнего момента осталась его погребенная маска.

Чтобы увидеть ее и запомнить на всю жизнь, надо побывать в его доме на Мойке, в Петербурге.

Над судьбой Пушкина остается только плакать – если бы мы не знали, какой светлый, прекрасный, неземной мир он оставил нам в своих книгах. И сколько смешного, умного и назидательного – даже пророческого – этот гений успел ска-

зять. И как сам он бывал счастлив, закончив очередную работу, счастлив до того, что бил себя по коленке и смеялся: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

Он-то знал, кто он есть.

Но об этом люди, жившие в одно время с ним, как-то не задумывались.

Обычно современники легкомысленно относятся к обитающим по соседству творцам.

Тут надо сказать, что вполне понимали значение Пушкина только преданные читатели (их-то было очень много, простых людей, никому не известных), затем некоторые поэты, невольно пораженные пушкинскими текстами в самое сердце, ну и власть, которая распознает своего врага на любом расстоянии и инстинктивно, как зверь.

Царь Александр Павлович из рук доносчиков получил несколько пушкинских стихотворений, которые ходили по России (их переписывали во множестве, оду «Вольность» и еще два, «К Чаадаеву» и «Сказки. Noël»), – и царь собрался арестовать двадцатилетнего стихотворца и сослать его чуть ли не на Север, в Соловецкий монастырь. Там писака бы живо сгнил без права пера и бумаги.

Позже, век спустя, при Сталине, в Соловецком монастыре будет настоящий концлагерь с расстрелами. Правители похожи, а территория России со своими тайными, затерянными в снегах тюрьмами у нас одна, другой нет...

Однако для царя Александра I совершить такое злодеяние, заточить Пушкина на Соловках, было нельзя, для него, замаранного в отцеубийстве, великого грешника, который не отомстил за смерть родителя.

Он мучился, что Россия знает больше, чем было. Ему предстояло умереть, как до сих пор подозревают исторические сплетники, по собственной воле.

Россия всегда стояла перед своими властителями слепой прорицательницей, знающей то, чего знать невозможно.

Тем временем за Пушкина заступились старшие друзья, в том числе придворный писатель Карамзин, вместе с ним и будущий мученик, поэт и философ Чаадаев, а также Гнедич, одноглазый переводчик Гомера. Это про него смешливый Пушкин написал «Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера. Боком одним с образцом схож и его перевод»...

Когда поэту приходит строка, он уже над собою не властен и должен ее записать. О ком бы и о чем бы эта строка ни говорила. А у бумажки, по русской пословице, есть ножки...

Пушкина благодаря хлопотам друзей выслали не на Север, а на Юг.

Это сейчас там места отдыха. А тогда те пространства были захоластными, грязными, нищими, пыльными, безлюдными и безводными. Настоящее место ссылки. Там обитали только военные, по-нынешнему пограницы, и местные чинов-

ницы, про которых Пушкин вскоре напишет «дамы преют и молчат».

Пользуясь тем, что точного адреса, куда выслать, власти не указали, для петербургских жильцов весь юг России (Бесарабия ли, Крымские ли степи, Северный ли Кавказ) были равно дики, пустынны и непригодны для жизни, типа гуляй – не хочу, Пушкин мог переезжать с места на место.

Маршруты его таковы: Екатеринослав – Пятигорск – Крым (через Тамань, Керчь и Феодосию) – Гурзуф – Кишинев – Киев – Одесса – Кишинев – Одесса. Там, в Одессе, в этом торговом приморском городишке, к нему внимательно присматривается его начальник граф Воронцов, о котором Пушкин напишет: «Полу-милорд, полу-купец, / Полу-мудрец, полу-невежда, / Полу-подлец, но есть надежда, / Что будет полным наконец». Прославил своего начальника навеки.

Граф Воронцов, не зная этих своих новых знаков отличия, тем не менее что-то беспокоится и посылает наверх требование, чтобы Пушкина изолировали.

Пушкина высылают в Михайловское.

Это вторая его ссылка, с Юга на Север.

И еще год с лишним он проведет там без права выезда, ему будет разрешено поехать только на лечение в Псков.

За это время, за пять лет, поэт написал такое, что весь русский мир сотрясся до основания. Люди переписывали и передавали копии друг другу. Позже, в советские времена, такой метод распространения литературы называли «самиздат»

и за него начали сажать.

Эти послания – то было бегство пленного из неволи, бунт поэта против солдатской дисциплины, ссыльного – против пустоты вокруг, это было то одиночество, которое рождает связь со всеми сразу, – мелькнет луч разума, и его вдали, за тысячи верст, поймают избранные и передадут всем остальным (в том числе и нам).

Как часто для творца отсутствие больше присутствия, как часто неволя дает толчок мощнее, чем свобода, потеря бывает важнее присвоения, горе становится плодотворнее счастья...

Написано было, начато или закончено вот что:

поэмы «Кавказский пленник», «Гавриилиада», «Братья разбойники», «Евгений Онегин», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Граф Нулин», пьеса «Борис Годунов».

Одни шедевры.

Не считая множества великих стихотворений.

Что такое великий поэт?

Как правило, это мертвый поэт.

Если бы при его жизни люди понимали, что он великий, то, наверное, ему прямо бы на улице или в булочной говорили, что знают его, как же, читали еще в школе, и просили бы у него автограф.

Такие случаи бывали в истории, когда поэты собирали полные футбольные стадионы или большие залы. Но этих

творцов уже никто не знает почему-то.

А вот одно имя называют всегда, когда людей просят: «Назовите имя поэта».

Каждый житель нашей страны сразу же произносит: «Пушкин».

А что было при жизни этого великого поэта?

А при его жизни у него имелись и читатели, и яростные сторонники, и преданные друзья, но были и те, кто пожимал плечами и провозглашал, что, например, Веневитинов лучше. Их было много.

Существовали и откровенные враги, насмешники, завистники, тайные стукачи, которые его травили, буквально ему жить не давали, переписывали его неопубликованные стихи и сдавали их в тайную полицию.

Из-за этого он всю свою недолгую жизнь не мог свободно ездить: когда он просился в Петербург, ему отказывали, в Москву – отказывали, за границу – и само собой разумеется, но не разрешали ехать даже в действующую армию на Кавказ, под пули. Пушкин тогда отправляется туда самовольно. Он играет с властями в кошки-мышки и даже насмешливо пишет прошение сопровождать русское посольство в Китай! Но, ежели ему отказывают в поездке в Полтаву, какой может быть Китай...

На все он должен просить особого позволения, посетить ли тут же в Петербурге, в Эрмитаже, библиотеку Вольтера или ознакомиться в архиве с делом Пугачева...

А как жилось этому вольному, свободному человеку в ссылке, да еще и когда он предполагал, что каждое его слово будет сообщено и отправлено в письменном виде государственным службам?

Дело дошло до того, что он подозревал собственного отца в этой слежке – возможно, и не без оснований...

И из-за врагов и их ненависти он в конце концов потерял в жизни все, то есть свою честь, и пошел на гибель, умер мучительной смертью в полном сознании, с пулей в животе.

Честь человека – это его доброе имя.

Преследователи опозорили Пушкина.

Он вынужден был стреляться, защищая свое доброе имя.

Тогда в России считалось, что только пролитая кровь очищает человека от позора.

Но враг, иностранец, вышел на дуэль, как подозревают, в тонкой кольчуге, надетой под рубашку. Возможно, на его родине, во Франции, такая вещь тайно практиковалась... В России это было бы невозможно.

Никому у нас и в голову бы не пришло проверять противников на предмет кольчуги. Не те были времена. Обыскивать дворянина никто не имел права. Дворянин, как подразумевалось, – это человек чести. Слуга только царю. Верноподданный, но не могущий допустить бранного слова в свой адрес. Оскорбитель должен был заплатить кровью.

По легенде, Пушкин, выстрелив, попал в своего противника, насквозь прошел его руку, а дальше пуля попала яко-

бы в небольшую пуговицу.

Кровью заплатил несчастный поэт, кровью, несколькими сутками мук и смертью. Его оскорбили, его же и убили. Он оставил четверых детишек и огромные долги. Он оставил вдовой свою красавицу-жену, на которую заглядывался, как пишут, сам царь Николай Павлович. Государь ее сразу отметил, после чего ей довольно быстро оказана была честь: ее, как тогда говорили, «представили ко двору», что означало приятную обязанность появляться на всех балах. Пушкин страдал, но делать было нечего.

Историческая сплетня гласит, что жена Пушкина подверглась после смерти поэта ухаживаниям властителя и родила от него девочку. Об этом скажем позже.

Когда Пушкин умер, не выдержал один молоденький офицер, написал и отдал по друзьям стихи «Смерть поэта». Во многих копиях они разошлись среди рассвирепевшего, плачущего населения. Люди переписывали и переписывали это послание: там были справедливые слова в адрес мучителей – «палачи». Палачи гения. Свободы, гения и славы палачи. Так автор назвал могущественных, приближенных к трону негодяев. За что его тоже сослали, Михаила Юрьевича Лермонтова. Великого поэта. Он также погиб на дуэли – многие считают, что это было нечто вроде самоубийства... Ему нужна была гибель, подобная пушкинской. Лермонтов, что называется, играл со смертью, дразня недалекого офицера Мартынова. Тому офицерская честь не оставляла выбора.

Стреляться и то ли убить, то ли быть убитым.

И страшно он прославился, был проклят из-за своей случайной победы.

А в беседе царя с братом, великим князем, смерть Лермонтова была отмечена вот как: «Собаке собачья смерть».

Сам Александр Сергеевич Пушкин когда-то написал другу, тоже поэту, Вяземскому, который сообщил ему о гибели Байрона (великий английский поэт отправился сражаться за свободу Греции): «Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии». И дальше он объясняет: «Гений Байрона бледнел с его молодостью». То есть уходил, терялся с годами. Необходимо было покончить с этим. Байрон пошел под пули.

Письмо отправилось в Москву в июне 1824 года.

Слова «а я так рад» означают, кстати, не то чтобы «очень радуюсь», а просто «что касается моего мнения, то я рад».

Пушкин писал другу из деревни, куда его выслал император Александр I после южной ссылки.

Пушкин ненавидел Александра, своего тюремщика.

Однажды он даже написал вот что:

Воображаемый разговор

с Александром I

Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал бы ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи». Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал: «Я читал вашу оду “Свобода”. Она вся писана немного сбивчиво, слегка обдуманно, но тут есть три строфы очень хорошие. Поступив очень неблагоприятно, вы однако ж не старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вы можете иметь мнения неосновательные, но вижу, что вы уважили правду и личную честь даже в царе». — «Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской оде? Лучше бы вы прочли хоть 3 и 6 песнь “Руслана и Людмилы”, ежели не всю поэму, или I часть “Кавказского пленника”, или “Бахчисарайский фонтан”. “Онегин” печатается: буду иметь честь отправить два экз. в библиотеку вашего величества к Ив. Андр. Крылову, и если ваше величество найдете время...» — «Помилуйте, Александр Сергеевич. Наше царское правило: дела не делай, от дела не бегай...» — <...> Ваше величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое со-

чинение противозаконное приписывают мне... <...> Я всегда почитал и почитаю вас, как лучшего из европейских нынешних властителей... но ваш последний поступок со мною – и смело ссылаюсь на собственное ваше сердце – противоречит вашим правилам и просвещенному образу мыслей...» – «Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие?» – «Это не было бы оскорбительно вашему величеству: вы видите, что я бы ошибся в моих расчетах...»

Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак» или «Кочум», разными размерами с рифмами.

Тем и кончилась бы беседа поэта с царем, гибелью...

Однако судьба Пушкина пока что щадила.

14 декабря 1825 года на Сенатской площади произошла заварушка, которую назвали позже «декабрьским восстанием», когда были выведены полки, отказавшиеся подчиниться новому царю, и был убит генерал Милорадович, призывавший всех разойтись. Событие это, которое сейчас бы называли «несанкционированный митинг», было вызвано недоумением: великий князь Михаил Павлович, брат умершего царя, опоздал приехать из Варшавы и объявить, что великий князь Константин, прямой наследник, которому часть войск уже присягнула, отрекся от престола. Войска поэтому и не желали заново присягать объявленному государем

Николаю. Бунтовщиков окружили, смяли, полки смешались, офицеров и солдат арестовали, отправили в крепость.

Лишь позже на допросах выяснилось, что за этим стояло тайное общество, заговорщики, которые хотели воспользоваться моментом и требовать свобод, конституции и всего того, что они увидели, войдя с армией вслед за бегущим Наполеоном в богатую, аккуратную, свободную Европу (где не было рабов и русской нищеты). Многие офицеры привезли в Россию целые библиотеки, собрания книг немецких и французских просвещенных мыслителей. По-нашему, подрывную литературу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.